

Слава Лунич



Слава Лунич

Небесный этюд-2

<https://litres.ru/74350873>

SelfPub; 2026

Аннотация

Лейтенант Соколов возвращается к своим с орденом и месячным запретом на полеты. Многое меняется: погоны, модификации машин, тактика, новые люди, но цель остается прежней. Путь к победе лежит с юга к западной границе.

Небо над Кубанью, ведомый-сержант, которого нельзя потерять и ожесточенные схватки в тесном небе. Он знает, когда все закончится. Но какую цену ему придется заплатить?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	19
Глава 3	33
Глава 4	47
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Слава Лунич

Небесный этюд-2

Глава 1

До Сальска я добирался четверо суток, и трое из них - на попутках.

Эшелон дотащил до станции, у которой название было сбито со щита ещё осенью, а новое повесить не собрались - дальше пути ремонтировали, и всё, что шло на запад, шло на колесах. Я стоял на обочине в госпитальной шинели короткой мне на ладонь с вещмешком, в котором болтались бритва, полотенце и две банки консервов, и ловил всё, что двигалось. Остановился ЗИС-5, потом полуторка с бочками, потом трактор-челябинец, тащивший на прицепе разбитую полевую кухню. Тракторист был глуховат и всю дорогу орал мне в ухо про свою деревню под Ольховаткой, и я отвечал что-то невпопад, потому что слышал одно слово из трёх.

Степь была голая и белая, с чёрными проплешинами там, где ветер сдул снег до земли. Вдоль дороги местами стояла техника - немецкая, наша, занесённая по башни, ободранная. Кто-то уже снял всё, что снималось. Один грузовик стоял ровно, аккуратно, будто хозяин отошёл на минуту. В кабине я заметил водителя и тут же отвернулся.

Бедро на морозе тянуло. На каждой остановке я слезал, топтался, разгонял кровь и лез обратно. Левый глаз слезился от встречного ветра, в итоге я додумался подвязать половину лица шарфом, и стало терпимее.

Сальск оказался кучей закопчённых стен и вокзалом без крыши. Что там было до войны - понятия не имею. Кажется, ничего особенного, обычный южный райцентр, каких по стране тысячи, и вспоминают его только те, кто в нём родился.

В комендатуре мне сказали, что таких, как я, за неделю прошло девятнадцать человек, и что полк мой стоит не там, где записано в предписании, а западнее, и что искать надо через БАО. БАО нашлось в бывшей МТС. Там мне налили щей, дали переночевать на соломе рядом с печкой и утром посадили в кузов к бочкам с маслом.

Всё. Дорога кончилась.

Аэродром я узнал раньше, чем увидел. Просто в степи появились правильные линии - колея, накатанная не как попало, а по одному следу, невысокие валы капониров, косые пятна маскировочных сетей, из-под которых торчали хвосты. Полуторка встала у крайней землянки, я спрыгнул и чуть не сел: ноги за три часа на бочках отсидел напрочь.

- Стой! Куда?

Часовой был в огромных валенках и в тулупе, из которого торчала одна голова.

Пока он изучал мои бумаги, шевеля губами и держа их на

весу против света, я стоял и смотрел на самолёты. Отсюда было видно девять. Считать я начал автоматически, но потом остановил себя, потому что считать тут нечего, это не бой, а стоянка.

- Товарищ лейтенант. - Часовой сложил бумаги и мотнул головой вбок. - Второй капонир от края, там ваши.

Я пошёл. Снег был утоптан до костяной твёрдости, скрипел под каблуками, так что меня вскоре слышали.

Из-под сетки вылез Кондрат - в ватнике, перепоясанном ремнём, с чёрными по локоть руками - постоял, вытер ладони о штаны, и пошёл навстречу быстрее, чем ходил обычно.

- Ну, - сказал он и остановился в двух шагах.

- Здравствуй, Кондрат.

Он взял мою руку двумя своими и потряс.

- А я говорил. Мне тут сказанули, что списали командира. А я говорил - не может быть, чтоб списали!

Он потянул меня за рукав под сетку.

«Ласточка» стояла зачехлённая, колёса в колодках, мотор под утеплительным чехлом. Кондрат сдёрнул чехол с носа так, будто открывал что-то на выставке. Мотор был перебран, я это увидел по свежим шплинтам и по тому, как чисто было в подкапотном.

- Гоняли третьего дня на всех режимах. Обороты держит, на газовке до двух тысяч четырёхсот выходит и не дымит. Он подождал, пока я оценю. - Шпон на левой плоскости менял. Завод, командир, стал класть в три слоя, а раньше клали в

пять и клея не жалели. У меня дома, если хочешь знать, комод из фанеры сорокового года, так его трактором не разорвёшь.

Я обошёл машину. На левом борту, ниже кабины, были звёздочки. Я посчитал, посчитал ещё раз и посмотрел на Кондрата.

- Одиннадцать.

- А сколько надо?.

- Кондрат, подтверждённых-то меньше.

- А транспортник? - он даже обиделся. - А который под Котельниковом? Я, командир, за что не видел, того не рисую. Мне Ерёма...

Он не договорил и хлопнул ладонью по плоскости - как хлопал, когда будил меня на рассвете. Плоскость отозвалась сухо.

К Бате я пошёл, как был - только сбил снег с сапог о порожек.

Землянка штаба была новая, доски пахивали сырой землей и дымом, на столе у Бати лежала фанерка с разграфлёнными мелом клетками. Не бумага. Фанерка. Значит, Заболотный выпилил ещё одну, а старая где-то в обозе.

Батя дочитал моё заключение до конца, потом вернулся к началу и дочитал ещё раз, и всё это время я стоял и смотрел, как у него на виске бьётся жилка.

- Месяц.

- Так точно.

- Годен к военной службе, месяц без лётной работы, потом осмотр по месту службы, - прочитал он вслух, будто мне, положил бумагу на стол и прикрыл ладонью. - А глаз?

- Компенсирую.

Он поднял на меня свой долгий взгляд с прищуром, от которого у всех в полку начинали чесаться лопатки, и держал его секунд пять.

- Ладно. - Он придвинул к себе фанерку. - Месяц ты у меня будешь ходить по земле. Дела найдется немало. С сегодняшнего дня - за старшего по хозяйству второй эскадрильи, всё, что не летает: дрова, землянки, караул, разгрузка. И с погонями разберись, а то мне их привезли, а пришить некому.

- Погоны привезли?

- Позавчера. Лежат в ящике.

По дороге от штаба меня перехватила кухня.

Спиридоныч стучал черпаком по краю котла - тем самым, выбитым из немецкой гильзы – и, увидев меня, замер.

- О, смотри-ка, живой!

- Живой.

- Тогда котелок давай. Или ты теперь с орденом, тебе на блюде?

Я подставил крышку от котелка - она же миска, он плюхнул мне туда каши с чем-то мясным, посмотрел, добавил ещё полчерпака и сверху шлёпнул кусок сала толщиной в палец.

- По лётной норме, - объяснил он в пространство.

- Я вообще-то месяц не летаю.

- Залетаешь. А то ходят тут, как жерди.

Рыжий пёс с перебитым хвостом, сидевший в трёх шагах ровно, как по линейке, шевельнул ушами. Спиридоныч запустил в него варежкой. Патрон отодвинулся на полшага и сел обратно.

Петра я нашёл у самой дальней машины.

Он сидел на ящике и подшивал перчатку, и когда обернулся, я снова, в который раз, споткнулся взглядом. Кожа на левой стороне лица была розовая и глянцевая, на морозе она краснела и блестела ещё сильнее, брови так и не отросли, и глаза у него слезились, как у меня.

- О, - сказал он и встал. - Вот это да!

Мы обнялись, и он хлопнул меня по спине так, что я закашлялся: лёгкие после декабря еще барахлили.

- Ну ты и худой, - заключил он, отодвинув меня на вытянутые руки. - В госпитале-то не кормили что ли?

- Кормили.

Я полез за пазуху и достал конверт. Он был мятый по углам, я его четыре дня оберегал, а он всё равно замялся, и газета, в которую я его завернул, протёрлась немного.

Пётр посмотрел на конверт, потом на меня.

Он не спросил, откуда. Взял его двумя пальцами за уголок, очень осторожно, как берут горячее, и пошёл за капо-нир, я остался стоять один посреди стоянки и разглядывать чужие маскировочные сети.

Его не было минут пятнадцать. Потом он вышел, сел обратно на ящик, положил руки на колени и стал смотреть в снег.

- Она мне сюда номер не писала. Полевую почту.

- Не было у неё номера.

- Ага. - Он потёр большим пальцем костяшку. - Ты понимаешь, что если б не ты...

Он не договорил. Взял перчатку с ящика, повертел и положил обратно.

- Спасибо, Коля.

Потом помолчал и спросил, как она держится. Я ответил, что нормально, только устаёт: ночные через двое суток на третьи. Он кивнул и больше в тот день ни о чём не спрашивал.

Писал он в ту же ночь - сидя на нарах, подложив под лист планшет, шевеля губами, и остановиться не мог часа полтора.

Погоны привезли не все.

Это выяснилось в землянке второй эскадрильи, куда притащили ящик и вывалили содержимое на нары. Полевые, защитные, просветы бордовые. Я взял пару и сразу увидел, что канты не те. Я почему-то держал в голове, что у авиации канты красные - не знаю, откуда взял, наверное, из какого-нибудь фильма - а они были голубые. Стыдно, конечно.

Указ я помнил: шестое января. А вот как это шло в частях, сколько тянули, кто шил и из чего - не помню совершенно.

В учебнике этого не было.

- Это что ж такое, - Пахомыч сидел с краю и щупал погон, поворачивая его к лампе здоровым ухом вперёд, будто собирался его слушать. - Это ж золотопогонники. Я на них в двадцатом...

- В двадцатом кобылу пас, - не оборачиваясь, отозвался Кузьмин.

- Я в двадцатом, между прочим...

- В обозе. Сам рассказывал.

Пахомыч обиделся и ушёл, но через полчаса вернулся, потому что дратва была у него, а нитки у всех кончились.

Пришивали кто как. Голубь свои пришил первым и ходил в накинутаой на плечи гимнастёрке, выйдя на мороз без всякой надобности, и стоял на виду, и делал вид, что смотрит в небо. Два ордена Красного Знамени у него на груди и погоны старшего лейтенанта - это, надо признать, впечатляло.

Барабаш пришил криво. Не просто криво, а с перекосом в разные стороны, левый выше правого на палец, и вдобавок стянул ткань так, что плечо пошло горбом. Он посмотрел на себя в осколок зеркала на стойке, и лицо у него будто опало.

- Дай сюда, - Клава отобрала гимнастёрку, не спрашивая. - Меченый, а ты чего сидишь? Снимай свою.

- У меня кубари.

- Ну и что, что кубари. Погоны-то тебе привезли.

Я снял. Кубари у меня были разные - один довоенный, эмалевый, второй крашенный, выменянный в госпитале у зав-

хоза за дневную пайку сахара, и на солнце эта разница была видна за десять шагов. Расставаться с ними оказалось почему-то жалко.

Клава шила быстро, глядя не на иглу, а куда-то мимо, и говорила при этом про своего соседа из Урюпинска, который держал голубей и однажды из-за них подрался с шурином.

- А ты не крутись. Не крутись, говорю, иглой в шею попаду, додрыгаешься.

- Клав, а ровно?

- Ровнее, чем у тебя было.

Голубь с мороза вернулся, постоял в дверях, дал всем на себя посмотреть и заметил, что теперь по одному плечу будет видно, кто в полку кто.

- По плечу видно будет, - согласился Захарыч из угла. - А по фамилии в сводке - ещё лучше.

Голубь усмехнулся и гимнастёрку с плеч снял.

Заболотный прошёл вдоль нар, остановился, посмотрел на всё это через свои очки с проволочной дужкой и спросил, кто отвечает за сроки. Сам себе ответил, что отвечает командир эскадрильи. Оглядел нас неспеша и ушёл вполне довольный.

Гуреев принёс список и стал выкликать, кому расписаться в получении, и каждую фамилию, по своему обыкновению, называл дважды.

- Плужников. Плужников.

- Я.

- Кузьмин. Кузьмин.

- Да тут я, тут.

Кузьмин расписался, не глядя, и погоны сунул под подушку. Он сидел, подшивал подворотничок суровой ниткой, перекусывал её зубами и смотрел шов на просвет, и погоны свои даже не развернул.

- Носить-то будешь? - спросил его Барабаш.

- Привезут нормальные - надену. А эти из-под жернова, что ли, тянули.

И замолчал, и стал под нос подпевать что-то без слов, не разжимая губ.

Налетели в шестом часу, когда уже начинало смеркаться и когда всё уже стояло зачехлённое на ночь.

Я в это время был у дровяной кучи с двумя бойцами из БАО и пилой, у которой развод зубьев делали на глазок, отчего её уводило вбок, и мы третий раз спорили, кто её так испортил. Пила визжала. Из-за неё я и не сразу услышал.

Первым среагировал Патрон. Пёс вскочил у кухни, где ошивался с обеда, задрал голову и залаял - коротко, часто, глядя строго на запад, в сторону низкого мутного солнца.

- Воздух! - заорали от стоянки, и через полсекунды заорали ещё в трёх местах, и часовой начал бить в подвешенную гильзу.

Их было шесть. Мессершмитты, парами, шли низко над степью, прямо от солнца, и я их увидел только, когда первая пара уже вспухла огоньками на носках.

Дальше всё сделалось быстро.

Я упал за дровяную кучу, придавив кого-то из бойцов, и над нами прошло с тем сухим рвущим звуком, от которого внутри всё каменеет. По снегу впереди хлестнуло очередью - раз-раз-раз - и снег встал стеной, вперемешку с чёрной землёй из-под него. Что-то ударило по поленьям, и одно подпрыгнуло и стукнуло меня по колену. Секунды через три прошла вторая пара, следом третья, и всё это уложилось в такое короткое время, что я не успел даже как следует вжаться.

Потом стало тише, и в этой тишине завывало. Тонко, на одной ноте.

Я поднял голову. У третьего капонира горел бензозаправщик. Горел он столбом, с чёрным жирным верхом, и от него до сетки крайней машины было метров пятнадцать, и на этих пятнадцати метрах лежала бухта шлангов, а за ней - бочки.

- Оттаскивай! - орал кто-то. - Оттаскивай машину!

Я побежал.

И на последних метрах не добежал так, как хотел: бедро дернуло, нога стала чужая, и я доковылял, ругаясь вслух. Возле машины уже был Кондрат, ещё двое упёрлись в плоскости, кто-то навалился на стабилизатор.

- Раз-два - взяли!

«Пятёрка» пошла тяжело: стоило сойти с накатанного, и колёса резали снег до земли, и мы её выкатывали, упираясь и оскальзываясь, метр за метром, и я слышал, как у меня что-то хрипит в груди.

Оттащили. Сетка с одной стороны уже занялась - искры донесло - и там сустились с лопатами, кидали снег.

- Брезент! - крикнул я. - Брезент тащите, мокрый, накрывать! Снегом бензин не собьёшь, он под ним и дальше жрёт!

На меня оглянулись. Секунду - как на дурака. Потом побежали к землянке за брезентом.

Брезент был сухой, мочить его было негде и некогда, его сунули в сугроб, потоптались по нему ногами и понесли, и накрыли, и придавили лопатами по краям, и огонь под ним сначала вспух горбом, а потом сел.

Пахомыч потом три вечера рассказывал, что накрывать брезентом придумал он сам, в тридцать восьмом, на автобазе, когда у них загорелась яма.

Клава с двумя девчатами в это время таскала от горячей сетки ящики со снарядами - по два человека на ящик, бегом, спотыкаясь - и я подхватил третий и тащил его один, потом еще долго не мог разогнуть пальцы.

Мессеры разворачивались на второй заход. Я это понял по звуку - он изменился, стал плотнее, и с той стороны ударил наш ДШК, лениво, с опозданием, и трассы у него ушли явно позади.

Они прошли вдоль стоянки теми же парами, и я лег мордой в снег у капонира и видел перед собой только снег, а слышал всё: очереди, звон по железу, чей-то крик от землянки.

Когда поднял голову, вокруг машины на левом фланге лежала её обшивка. Не куски - шелуха, слоями, разбросанная

метров на десять, и от свежих сколов на фанере ещё поднималась пыль.

И тогда завылло снова, только теперь не тонко, а по-человечески.

Он лежал у самого края капонира - тот парнишка из БАО, что спорил со мной про пилу. Его достало осколками, и нехило: одна нога у него была не там, где должна быть. Он не кричал. Выл сквозь зубы и пытался сесть.

Я дополз, схватил его под мышки и потянул. Он был лёгкий, килограммов шестьдесят, но я тащил его метров сорок и на середине подумал, что не дотащу - и всё равно дотащил.

- Санитара! Санитара сюда!

Прибежал Гуреев, без шапки, в расстёгнутой шинели, и сразу сел рядом на снег и стал держать парню голову. У него на рукаве осталась потом полоса.

- Тихо, тихо, милый. Тихо. Сейчас. Как зовут?

Парень сказал. Гуреев переспросил и повторил дважды, как всё повторял, и парень от этого почему-то немного успокоился.

Жгут накладывал я. Взял ремень и делал так, как учили ещё в училище и как я потом сто раз видел в полку. Руки работали сами. Мысли в голове были совершенно посторонние: что ремень новый, что за ремень с меня спросят, что надо будет записать, когда наложил, а карандаша нет.

Время наложения я нацарапал ему на лоскуте бинта угольком с дровяной кучи. Не помню, донесли ли этот лоскут до

санбата.

Улетели мессеры так же, как пришли - на запад, в тёмное уже небо, и никто им вслед ничего сделать не мог.

Потери оказались такие: одна машина сгорела совсем, вторая с изрешеченной плоскостью, но живая, бензозаправщик, четверо раненых, из них двое тяжело, и убитых не было. Батя молча обошёл всё это с фонарём и ушёл в штаб писать.

Ночью на стоянке горела лампа под чехлом - Кондрат с Пахомычем чинили изрешеченную плоскость и ругались из-за клея.

Я сидел на ящике возле них, потому что идти спать не мог. Ладонь на правой руке была содрана и обожжена одновременно, Клава залила её чем-то жгучим и замотала, и теперь эта рука жила отдельной жизнью и дёргала.

Есть при этом хотелось так, что я сходил к кухне второй раз и доел холодное прямо из миски, стоя, придерживая ее забинтованной рукой. В той, прошлой жизни я после такого дня не то что не ел - я бы до утра сидел и паялся в стену.

Пётр принёс кружку. Чай был еле тёплый и пах жестью.

- Первый день, - сказал он, усаживаясь рядом. - Ты как знал.

- Ага. Я специально.

Мы посидели. Пахомыч в капонире объяснял Кондрату про завод и про пять слоёв шпона, а Кондрат отвечал ему, что это он сам утром говорил, и что вообще-то у него дома

комод.

Патрон подошёл, обнюхал мои сапоги, посмотрел снизу вверх и лёг рядом с ящиком, привалившись к нему боком.

Летать мне было нельзя ещё двадцать три дня.

Глава 2

Уже со второго дня я для всего полка стал «безлошадным». Звучит немного обидно, учитывая, что раньше меня называли «самородок», но это временно. К тому же не самое точное определение, потому что самолет-то у меня был. А «безлошадным» звали обычно тех, чья машина в долгом ремонте, а то и вовсе сбита. Моя «Ласточка» стояла зачехленная, заботливо проверяемая Кондратом, готовая к бою. Проблема была во мне.

Машину, которая сгорела накануне, разобрали уже на следующий день. От нее осталась рама, мотор, спекшийся в один кусок, да шасси. В радиусе пяти шагов снег полностью растаял, но потом влага замерзла, и там частенько кто-нибудь поскальзывался.

Заболотный осматривал ущерб и командовал в своей вольнолюбивой манере.

- Стойки куда?
- В обменный фонд.
- Повторите.
- В обменный фонд, товарищ инженер.

Заболотный снял очки, потер их рукавом и повернулся, было, уходить, но остановился и осмотрел место пожара еще раз.

В тех краях с дровами было туго. Мне почему-то каза-

лось само собой разумеющимся, что их должны привозить. А привозить было неоткуда: до ближайшей посадки километров одиннадцать, и по ней к февралю уже неплохо прошлись, не мы, а до нас. Печей в полку было штук пятнадцать: землянки, штаб, санчасть, пара у БАО да кухня. Топили много и часто. В дело шли будыльи. Стебли от подсолнухов на полях торчали из под снега и толщины в них было с палец. Их ломали вручную, увязывали в снопы и увозили на санях. Горели они, конечно, хорошо, но быстро, и подкидывать надо было часто.

- Нужен кизяк, - объяснил мне пожилой ездовой из БАО по фамилии Нечипоренко. - Кизяк-то, товарищ лейтенант, хорошо тлеет, хоть всю ночь.

- А где мы его тут возьмем?

- В хуторе. Где ж еще?

Я не сразу вспомнил, что это такое, но в моменте сделал вид, что понял.

Хутор был в семи километрах к северу. Отыскался он по дыму. Было там всего восемь дворов, а когда-то стояло больше тридцати. Кирпичей кизяка нам выделили, но не за просто так: плотники из БАО пообещали поправить сруб колодца на той неделе, а мы пока привезли пилу, гвозди и котелки. Старушка, видимо, главная во дворе пристально следила за нами.

Три дня возили топливо: тот самый кизяк, солому, где что могли добыть по хуторам. На третий день Пахомыч объ-

явил, что пилу надо, наконец, привести в порядок. У нее неправильно были разведены зубья, и из-за этого полотно шло неровно. Споры о том, кто ее испортил, ни к чему не привели.

Он ушёл и вернулся с двумя дощечками, между которыми полотно садилось намертво, и с расплюснутым гвоздём. Разводил он сам, часа полтора, сопя и поворачивая пилу к свету, и не позволил притронуться никому. Потом мы распилили ею три шпалы, которые притащили с разъезда, она пошла ровно, и Пахомыч объявил, что развод - дело простое, если подходить с умом.

При Кондрате я болтался почти каждый день.

Толку от меня было немного: правая ладонь, содранная и обожжённая с того вечера, гнулась плохо и мокла под бинтом. Но подать, поддержать, посветить, подогреть - на это годился.

Зимнее обслуживание оказалось работой без конца. Масло после последнего полёта сливали горячим в бидоны и тащили к печке, аккумуляторы уносили в землянку на ночь, а утром волокли обратно на санках, и Кондрат ругался, что так они выйдут из строя вдвое быстрее. Мотор грели лампой: под чехол заводили рукав, и надо было следить, чтобы тёплый воздух шёл на нижние цилиндры, потому что верхние и так прогреются.

- Свечи, командир, - говорил Кондрат, выкручивая очередную. - Заводской смазки в них кладут столько, будто их

в Африку везут. А мы их бензином, бензином, а потом дуй, а потом опять.

- В двух посудинах мой. В одной сполоснул, во второй до-мываешь, тогда чистый дольше живёт.

- А, - Кондрат кивнул. - Так это само собой.

Мысль была из другой жизни, из гаража, где отец возился с «Жигулями» и где я лет в двенадцать держал ему лампу точно так же, как теперь Кондрату.

Дежурства у машин начинались затемно.

Я вставал в четыре, потому оказалось, что когда работа-ешь на земле, вставать надо раньше. Стоянка в темноте была тихая, только у капониров лязгало и попыхивало - грели мо-торы, и от чехлов шёл пар. Дальше начиналось самое непри-ятное, буквально как ножом по сердцу: небо серело, машины выходили на полосу одна за другой, и я стоял и смотрел.

Первые дни я даже придумал себе занятие - считал секун-ды между отрывом и уборкой шасси, будто это кому-то нуж-но. У Голубя выходило семь. У Плужникова девять, а один раз двенадцать, и Голубь на земле объяснил ему про это, от-ведя в сторонку и негромко, Плужников потом полдня ходил красный.

Барабаш летал с Кузьминым ещё с января. Оно и понятно: Кузьмин после пятого декабря остался один, а Барабаш чис-лился при мне, а меня не было. Пока они выруливали, я сто-ял и прикидывал, как Кузьмин поведёт, куда он его поставит на развороте и успеет ли Барабаш перестроиться. Представ-

лял я это до самого их отрыва.

- Иди-иди. - Спиридоныч глухо стукнул черпаком по краю котла, когда я третий раз за утро оказался у кухни. - Ходит тут, вздыхает. На, картошку чисть, раз безлошадный.

Картошку я чистил левой рукой, зажав нож как получится, Патрон сидел напротив и ждал очистки, но когда получал их, лишь обиженно нюхал.

Повязку мне меняли у оружейников, потому что там была лампа поярче.

Клава разматывала бинт быстро, не жалея, а последний слой отдирала рывком, и я каждый раз успевал только быстро вдохнуть.

- Не дёргайся.

- Я и не дёргаюсь.

Руки у неё как и раньше были чуть ли не самые убитые в полку: зимой пушки промывают бензином и работают насухо, пальцы у неё трескались до крови, и она обматывала их бинтом, как боксёр. Ладонь мою она осматривала со всех сторон, поворачивая к свету, потом лила немного спирта и дула на ладонь.

- Заживает?

- На тебе всё заживает, Меченый. Ты ж молодой.

Пополнение привезли двадцатого февраля, к вечеру, на двух полуторках.

Восемь человек: пятеро лётчиков-сержантов и трое из БАО. Сержанты стояли у машин кучкой, сущие новички, в

новых, необмятых шинелях, с одинаковыми фанерными чемоданчиками, и озирались.

Гуреев вышел со списком.

- Ситников. Ситников.

- Я!

Он шагнул вперёд первым и улыбнулся всей физиономией - светлый, скуластый, курносый. Лет девятнадцать, может двадцать. Тощий, как все они тогда.

- Артём, - добавил он зачем-то и, кажется, сам смутился.

- Гладышев. Гладышев.

- Здесь!

Этот был из Куйбышева, длинный, с кадыком, и на всякий вопрос отвечал сначала «так точно», а потом уже по делу.

Машин на всех не хватало. Вечером в штабе Батя прикинул вслух, кого куда: машин тринадцать, исправных девять, а лётчиков теперь больше, чем машин. Двоих он решил отправить с Заболотным за матчастью, остальные пока ходили безлошадными вместе со мной.

Ситников за первый вечер успел познакомиться со всеми. Он спрашивал имена, повторял их вслух, чтобы запомнить, и через час звал механиков по имени, а Спиридоныча - Спиридонычем. На меня он налетел у входа в землянку, извинился, поднял голову - и застыл.

Рубец у меня идёт от брови через переносицу и вниз по щеке, в морозные дни его видно, как говорится, за версту. Он смотрел на секунду дольше, чем обычно. Потом дёрнулся,

отвёл глаза, сказал «виноват, товарищ лейтенант» и полез в дверь, обернулся и посмотрел ещё раз.

Спросить не решился. Ни в тот вечер, ни через неделю.

В ночь на двадцать второе я был начальником караула.

Луна взошла поздно и была уже на ущербе, но светила так, что степь под ней стала светлой почти как днем, только тени лежали не там, где надо. Посты у нас были: два по стоянке, один у склада, один у бензохранилища. Гладышева поставили на дальний, к складу, потому что он сам напросился.

В половине третьего он выстрелил.

Мы прибежали втроём. Гладышев стоял, развернувшись к северу, с винтовкой наперевес, и дышал так, что было слышно шагов за десять.

- Стой, кто идёт! - крикнул он нам.

- Свои. По кому стрелял?

- Двигалось! Я окликнул трижды!

Двигалось метрах в сорока. Это оказался куст перекасти-поля величиной с бочку, который ветром гнало вдоль склада, и теперь он лежал у проволоки, аккуратно пробитый в середине.

- Попал, - оценил старшина.

Батя разбирался утром. Сказал, что часовой действовал по уставу, что стрелять надо было выше. Куст с тех пор лежал у склада до самого отъезда.

А Гладышев к вечеру уже рассказывал, что стрелял он вообще-то на голос.

Пётр писал Маше через день.

Он ложился грудью на нары, подкладывал под лист планшета и мог просидеть так час, а то и два. Иногда он поднимал голову и уточнял у меня какую-нибудь ерунду: сколько километров от станции до госпиталя и есть ли там при госпитале печка в сестринской. Я отвечал, что печка, конечно, есть.

Сводки в те дни шли хорошие. Четырнадцатого взяли Ростов, шестнадцатого Харьков, и Гуреев читал это с гордостью, а Голубь заметил, что такими темпами к маю будем в Киеве, и на него зашикали со всех сторон, потому что говорить такое вслух в полку считалось плохой приметой.

Про Харьков я знал, что его отдадут обратно. Знал приблизительно: где-то весной немцы ударят под основание, город вернут и потом возьмут снова, а вот с числами у меня было пусто.

Ещё я был совершенно уверен, что нас погонят на запад, вслед за Ростовом, на Донбасс. Так уверен, что даже прикидывал вечерами, где там аэродромы. Ошибся, как выяснилось потом, полностью.

Двадцать третьего с утра построили полк, и Гуреев прочитал приказ к двадцать пятой годовщине. Спиридоныч по такому случаю выдал к каше по второму куску сала, а вечером пришёл эшелон.

Он встал на разъезде в шести километрах, и разгружать надо было ночью, потому что днём над разъездом прохаживалась «рама». Пригнали три полуторки, сани и всех, кто на

земле, включая меня.

Ящики со снарядами к ШВАК идут по двое. Бочку с бензином вчетвером спускают по слегам, и если слегка пошла - держать не надо, надо отскочить. Это единственное, что я твёрдо помнил из инструктажа. Работали в темноте, командовал старшина из БАО хриплым шёпотом, и за два часа я взмок так, что шинель под мышками стала сырой изнутри.

Ситников таскал наравне со всеми. Сперва он что-то бубнил себе под нос, а потом разговорился со мной.

- Товарищ лейтенант, а правда, что тут «фоккеры» появились?

- Говорят.

- А они как?

- Я их не видел. Говорят, тяжёлые: с пикирования хороши, а вверх, естественно, идут хуже.

Он подождал, не скажу ли я ещё чего-нибудь, не дождался и потащил свой ящик дальше. Через минуту вернулся и сообщил, что у них в училище инструктор говорил, будто «фоккер» легко горит с первой очереди, если попасть в маслорадиатор.

- Инструктор твой их видел?

- Не знаю.

- То-то и оно, что не видел.

К четырём утра эшелон разгрузили. Спиридоныч подогнал термос на санях с меринком, и мы стояли у саней, пили горячее и обжигались, и кто-то из БАО объяснял старшине,

что грыжа у него началась не здесь, а ещё в сороковом.

Обратно я ехал в кузове и заснул на первом же километре. Разбудили меня уже на стоянке, трясая за плечо. В той, прежней жизни я после бессонной ночи отсыпался до вечера и всё равно ходил разбитый. Тут я поднялся, попил и пошёл к Кондрату. Оказывается, так можно было.

Двадцать шестого потекло.

Юг есть юг: снег осел за двое суток, поле стало пегим, а к обеду верхний слой раскис. Ла-5 садился, и за ним оставались две чёрные борозды. Заболотный уехал с Батей смотреть полосу, вернулся мрачный и весь вечер что-то считал.

С этого дня вылеты пошли через раз. Не потому, что не давали задач, а потому что колёса вязли. Механики стали мрачнее тучи: вымыть машину от грязи, пробить забитые щели, вытащить из-под щитков килограммы налипшей земли - и всё это, чтобы потом повторить.

- Завод, - говорил Кондрат, отдирая ком с подкоса, - про грязь не думал вообще.

Первого марта нас предупредили о перебазировании. Не сказали куда - сказали готовить имущество к погрузке и составить ведомости. Они-то мне и достались. Три дня я писал карандашом, разлиновав листы по линейке: лопаты штыковые, лопаты совковые, козлы, печи чугунные бывшие в употреблении, брезент палаточный, чехлы моторные - и всё это в двух экземплярах, и на второй день рука заболела сильнее, чем от ожога.

Батя, подписывая, поглядывал на меня.

- Восьмого комиссия.

- Так точно.

Комиссия приехала седьмого вечером, а работать начала восьмого с утра.

Восьмое женский день, и с утра Заболотный от имени полка вручил Клаве, Нюре и девчатам-оружейницам по куску трофейного мыла и произнёс речь на две минуты. Клава мыло понюхала и под общий смех объявила, что от него тоже бензином несет.

Приехал майор медицинской службы Дробышев, невысокий, с седой щёткой волос, и с ним женщина-военврач, которая всё время мёрзла и поправляла шинель. Устроились в санчасти, в землянке с двумя окошками, вырубленными под самым потолком. Света там было мало.

Таблицу повесили на дощатую стенку и подсветили лампой. Полковой врач передвинул ее дважды.

Я разделся до пояса, потом оделся, дышал, приседал двадцать раз и стоял с закрытыми глазами, вытянув руки. Бедро прощупали, поворачивали ногу и заставили пройти туда-сюда. Лёгкие слушали долго, дольше, чем я хотел.

- Хрипов нет. - Женщина-военврач отняла трубку и подышала на пальцы.

- Жёсткое дыхание, - отозвался Дробышев. - Декабрь, крупная. Верхушки?

- Чисто.

Потом дошло до глаза.

Я знал, что будет с самого начала месяца и, если честно, из-за этого и не спал толком последние две ночи.

Закрыли правый. Я начал сверху и пошёл вниз, и на седьмой строке остановился.

- Дальше.

- Дальше не разбираю.

Дробышев подвинул лампу сам, потом отвёл её и посмотрел на меня.

- Не разбираете или не видите?

- Не вижу, товарищ майор.

В землянке стало тихо. Полковой врач кашлянул коротко, полез в свои бумаги и достал листок из госпиталя - тот самый, с моей февральской комиссией, где было написано «компенсирует».

- А это кто писал?

- Окулист. Старик. Фамилию не помню.

Тут я не соврал. Фамилию я забыл, ещё не уехав из госпиталя.

Дробышев читал листок долго. Потом сложил его, положил на стол и постучал по нему пальцем.

- Соколов, вы понимаете, что дальномерность биноккулярная?

- Понимаю.

- И как вы её замещаете?

Врать нельзя было. И правду говорить не хотелось - она

состояла в том, что я считаю по кольцу прицела, укладываю в него размах и по тому, как быстро он растёт, беру дистанцию, и что это счёт, а не зрение.

- Кольцом, товарищ майор. У прицела кольцо, размах в него укладывается. Если он растёт быстро - близко. По этому и держу.

- Считаете?

- Считаю.

Женщина-военврач посмотрела на Дробышева. Дробышев продолжал задумчиво глядеть на меня.

- Девять сбитых, - сказал он в бумагу. - Из них шесть после ранения?

- Пять, товарищ майор.

Он ещё помолчал.

- Ладно. Летать вам никто не запретит, вас командир ваш из-под меня выдернет через голову дивизии, и я это знаю не хуже вас. Пишу: годен, ограничений по полётам нет. Только имейте в виду: правый у вас теперь работает за двоих, и уставать он будет всё раньше. Как начнёт садиться к вечеру - обращайтесь к врачу сразу, а не когда совсем прижмет.

Он писал и говорил, не поднимая головы, и почерк у него был мелкий и очень аккуратный, что показалось мне странным для медика

Я вышел на улицу и постоял.

Было плюс два, с крыши землянки капало в накатанную колею, и от стоянки тянуло бензином и разогретым маслом,

там как раз запускали, и мотор схватил не сразу, а с третьего раза.

Кондрат шёл ко мне через поле, огибая лужи, и по шагам его я понял, что он всё уже знает - на аэродроме такое узнают раньше, чем сам скажешь.

- Ну что, командир?

- Годен.

Он вытер ладони о штаны, хотя они были чистые, и молча пошёл обратно к машине, и только шагов через десять обернулся.

- Так я чехол-то снимаю?

- Снимай.

Глава 3

Подняться, наконец, в небо я смог одиннадцатого.

Двое суток мело так, что от штаба до стоянки ходили, держась за верёвку, натянутую ещё в феврале. Потом все стихло, но сверху снег раскис, а снизу подмёрз, и Заболотный доложил Бате, что с полосой надо что-то решать, а что именно, не уточнил. Батя на мои взгляды не отвечал. Один раз только обронил, проходя мимо:

- Что ты суетишься? Раньше, чем полоса и погода позволят, всё равно не полетишь.

Одиннадцатого с утра стало тихо и бело от инея. Меня отправили не к «Ласточке», а к У-2, который обычно возил в дивизию бумаги и стоял на приколе, зачехлённый.

- В переднюю, - велел Батя, махнув рукой, и полез в заднюю часть кабины.

Я забирался в кабину и вдруг понял, что что-то не так. Неужели я что-то забыл за время, пока не летал? Но руки нашли всё сами, правда с задержкой, и она неслабо меня напугала.

Мы сделали пять кругов. Батя не вмешивался, только на третьем прокричал в переговорный аппарат, что ручку я тяну, как корову за рога. На пятом ручка у меня в руках словно ожила, и посадил он. Сели так, что касания я не почувствовал, лишь заметил, как хвост пошёл вниз.

- Живой?

- Живой.

- Завтра на своей. Один круг по коробочке. И не вздумай мне там крутить, я увижу.

Чехол Кондрат снял ещё восьмого и с тех пор каждое утро зачем-то протирал фонарь, хотя в этом не было необходимости.

Двенадцатого он подложил мне под шлемофон байковую подкладку, обошёл машину по кругу, потрогал колодки. Вместе с мотористом они провернули винт за лопасти, я залил, дал воздух. Мотор чихнул, выпустил немного дыма и заглох, но на следующий раз пошел ровно.

Взлетел, и все было хорошо до времени.

Машина ощущалась непривычно тяжёлой, крены я ловил с опозданием на полсекунды, а на развороте меня повело наружу, и я подобрал ногой позже, чем следовало. Сколько же я не был в воздухе? Месяца три не садился в кабину.

Посадку я запарол. Земля подошла рывком, я взял ручку, словно испугавшись, слишком рано, «Ласточка» приподнялась, зависла и села с козлом, потом со вторым поменьше, и покатилась, кивая, как будто соглашалась со всем, что я о себе в этот момент думал.

Кондрат подошёл, залез на плоскость и стал помогать мне с ремнями.

- Стойки живые, - доложил он в пространство. - Резина держит.

Пахомыч, оказавшийся тут же неизвестно зачем, сообщил, что фанера у нас крепкая, а вот на автобазе в тридцать восьмом один такой сел - и мост пополам.

Батя стоял у капонира и смотрел. Ничего не сказал. Это было хуже разбора.

В воздухе я к третьему полёту разошёлся, а вот сажал по-прежнему. Батя разрешил зону.

Там выяснилось главное. Виражи, боевые развороты, две бочки - всё это тело помнило, руки делали, и голова успевала. А на четвёртой перегрузке в глазах поплыло, и я закричал, как учили, и вытянул. И всё равно вылез потом из кабины на подгибающихся ногах и через минуту стоял за капониром, упёршись лбом в холодную землю бруствера, и меня выворачивало утренней кашей.

Голубь оказался рядом. Он ничего не заметил, а если заметил, то смотрел в другую сторону и свернул самокрутку.

- Первый раз после долгого всех полощет, - он лизнул край бумаги. - Кузьмина после госпиталя неделю мутило, он тогда ещё на табак ругался, будто табак виноват.

Оставалась посадка.

Она не выходила, и я знал почему. Правым я видел всё, а вот на выравнивании, когда важны последние два метра, земля переставала иметь расстояние: она была просто внизу, серая, и подходила резко. Полётов с шести я придумал свою схему. Перестал смотреть перед собой и стал поворачиваться влево-вперёд, метров на тридцать по борту, и там уже бо-

ковым зрением ловить, как бежит земля.

Ещё я попросил Кондрата навтыкать вдоль полосы вешек.

- Так а как же, - Кондрат воспринял это как само собой разумеющееся. - В грязи полосу и не видать вовсе. Особенно если снегом припорошит.

Он нарубил будыльев подлиннее, обмотал верхушки тряпками и поставил их через каждые тридцать шагов. На следующий день по этим вешкам садился весь полк.

Матчасть полк добирал весь март. Перегонщики ходили трижды, последние шесть машин пригнал Заболотный пятнадцатого, и вечером в штабе Батя назвал вслух, сколько теперь всего и сколько исправных - двадцать четыре и девятнадцать.

Из последних шести четыре были Ла-5Ф, и две из них с пониженным гаргротом. Такие только пошли, у нас их раньше никто не видел.

Одну мне позволили облетать.

Я сел в кабину и почувствовал разницу ещё до запуска. Спину за головой срезали и вместо фанеры поставили плекс. Я развернулся в ремнях и увидел небо там, где три месяца назад была фанера, а под ним стоянку, кухню и Патрона, идущего куда-то по своим делам. На «Ласточке» я три месяца назад крутил головой так, что к вечеру шея не поворачивалась, и всё равно нижнюю заднюю полусферу мне подглядывал ведомый.

В воздухе я ловил себя на том, что смотрю назад чаще,

чем нужно, просто потому, что теперь можно.

На «Ласточке» приёмник стоял с осени, и я его почти не включал: в наушниках трещало от зажигания так, что через десять минут начинала болеть голова. Я был уверен, что с новыми машинами это кончится само собой - раз ставят, значит, работает - и тогда всё меняется: можно предупредить, можно навести, можно вообще сражаться иначе.

Передачик мне поставили как ведущему, по одному на пару. Треск никуда не делся. Так что пользовались этим лишь по необходимости.

Я предложил Заболотному.

- Товарищ инженер, а если провода к свечам в оплётку убрать? Медную, и на массу. Тогда треска станет меньше.

- Оплётку? Оплётку. А медь откуда?

Он снял очки, посмотрел на меня через них на просвет и предложил начать с того, чтобы сержанты не жали кнопку локтем.

Кондрат всё это время стоял у крыла.

- Обзор, конечно, - согласился он. - Только вы поглядите, командир, как у неё зализ сделан. Пальцем ведёшь - ноготь цепляет. Спешка. Раньше бы такое с завода не выпустили.

- Раньше и войны не было.

- Так я и говорю: спешка.

Он ещё раз обошёл «эфку», потрогал зализ, поцокал и вернулся к «Ласточке», и уже возле неё сообщил в пространство, что мотор перебран, на газовке до двух тысяч четырёх-

сот выходит и не дымит, а что до обзора, так голову ещё никто не отменял.

Батя мне пересесть предложил один раз, вечером, между делом. Я отказался. Он посмотрел на меня секунд пять и ничего доказывать не стал.

«Эфки» ушли Голубю, Кузьмину, Захарычу и Петру. Артёму досталась та машина, которой в феврале разнесло плоскость: её собрали, зашили новой фанерой, и заплата слева была видна за полста шагов.

Ведомого мне назначили в тот же вечер.

- Ситников, - Батя провёл ногтем по фанерке. - Обкатывай. Времени тебе - до перебазирования.

Барабаш узнал об этом вторым и весь вечер держался поодаль, а потом подошёл к нарам и стал разглядывать что-то у меня над головой. Я глянул на него кивнул вверх, мол, не томи.

- Я не жалуюсь. С Кузьминым нормально.

- Конечно, нормально.

- Просто я думал, вернётесь - и как было.

Кузьмин из своего угла, не поднимая головы от подворотничка, заметил, что кто с ним слетался, тот от него уже никуда. Барабаш повеселел и ушёл.

Артём про назначение узнал раньше меня, не знаю от кого. На ужин он пришёл уже довольный, сел напротив и все смотрел на меня так, будто я сейчас начну рассказывать что-то важное.

- Ешь, давай. Чего смотришь?.

- Так я ем, товарищ лейтенант.

Ел он много и быстро, как и все мы. Я после трёх вылетов в день сметал свою миску, потом добирал у Спиридоныча и в промежутках грыз сухари. А всё равно оставался, по выражению Клавы, «жердью». В той жизни я после спортзала полдня ходил героем от одной куриной грудки. Тут я который месяц ел так, что дома бы испугались, и это было нормой.

Шестнадцатого потеплело до плюс шести, и полк устроил стирку.

Бочку поставили на кирпичи за землянками, с подветренной стороны, под ней развели огонь, воду возили с утра. Золы натаскали из печей и замочили в кадке, и Пахомыч руководил щёлоком лично, потому что мыло-то казённое, его на всех не напасёшься.

- Гимнастёрку в кипяток не суй! - орал он через двор. - Сядет!

Барабаш сунул. Гимнастёрка села так, что рукава стали ему почти по локоть, и он ходил вокруг бочки с ней в руках, растягивая.

- Ты её на себя натяни и высуши, - посоветовал Кузьмин, не оборачиваясь. - Она по тебе и станет.

- А если не станет?

- Тогда меняйся с Гладышевым. Он длинный, ему всё равно всё коротко.

Патрон утащил чью-то портянку и удрал с ней за капони-

ры, его ловили втроём минут десять, и не поймали. А портянку он потом бросил сам, когда надоела.

Я стирал левой, правая ещё гнулась плохо: ладонь после того февральского вечера зажила, но кожа на ней осталась молодая и тонкая, лопалась от щёлока и от холодной воды. Клава посмотрела и молча вылила мне в шайку кипятку из ведра.

- Не грей руку в горячем, - тут же вмешался Пахомыч. - От горячего кожа дурная делается.

- От твоего щёлока она делается дурная, - Клава даже головы не повернула.

Артём стирал рядом, старательно, как отличник, и трижды переспросил, надо ли отдельно портянки. Потом рассказал, что дома, в Кирове, стиркой занималась бабка, а он таскал воду от колонки.

Первый совместный вылет мы сделали семнадцатого.

Я объяснил ему на земле, чертя прутиком по грязи: интервал такой-то, дистанция такая-то, на развороте наружный отстаёт, поэтому режь угол; потерял меня - не ищи глазами, а иди курсом, я сам подберу; в эфир не лезь, пока не позову.

В воздухе не вышло ничего из перечисленного.

Он прилип ко мне так близко, что я видел его лицо и как он держит ручку. Отогнуть его я не мог: качал крылом, а он воспринимал это как одобрение и подходил ещё ближе. На первом же развороте его вынесло вперёд, он это заметил, убрал газ рывком, провалился вниз и потерял меня.

Я нажал кнопку и велел ему идти с набором на юг.

Он не услышал ни слова, метался внизу над степью, разворачиваясь то туда, то сюда, и я подбирал его сверху две минуты, и все эти две минуты в наушниках у меня трещало.

Сели. Артём вылез из кабины красный и мокрый, шлемофон в руке, и стоял передо мной по стойке смирно.

- Разбор потом. Сейчас пить и есть. Идём.

Приёмник его смотрели вечером втроём, с фонарём. Провода к свечам шли где попало, экранировки почти не было, и в наушниках стоял такой же треск, только гуще. Кондрат перебрал жгут, обмотал, что мог и объявил, что теперь будет лучше. Стало лучше примерно на треть.

Голубь, проходя мимо, поинтересовался, не радиостанцию ли мы тут строим, и заметил, что за всю зиму эта штука ни одному человеку жизни не спасла, а вот отвлекала многих.

Разбор был в землянке, на фанерке огрызком карандаша. Я рисовал ему пару сверху: где он, где я, куда смотрит он и куда я.

- Ты на меня не смотри. На меня хватит взгляда раз в пять секунд. Всё остальное время смотри назад и вверх. Твоя работа - не за мной ходить, а держать то небо, которого я не вижу.

- А если я вас потеряю?

- Все теряют. Не мечись только, иди на юг и не крути - я тебя найду быстрее, чем ты меня.

Он записал что-то в книжечку. Первый месяц они все что-то записывают.

Восемнадцатого и девятнадцатого мы отлетали ещё шесть вылетов, и на шестом он впервые продержался в паре весь маршрут, а на посадке подошёл на своей высоте, без подсказок.

Девятнадцатого возили стрелять.

Щит поставили за балкой в трёх километрах от поля: доски, сколоченные крестом, метра четыре в размахе, с намалёванным известью кругом посередине. Возили нас туда накануне, на полуторке, чтобы посмотреть на него глазами с земли, и Артём долго ходил вокруг и мерил его шагами.

Клава пушки готовила сама и всю дорогу ворчала, что после зимы им веры нет.

- Смазку кладут, будто её жалеть нельзя. Промоешь, а она в подающем всё равно где-нибудь сидит.

- И что тогда?

- А тогда, Меченый, ты нажмёшь, она тебе один снаряд выплюнет и задумается.

Первый заход я заporол. Открыл огонь далеко - мне казалось, что щит уже вот он, а он был ещё там - и трассы ушли под него, вспахав снег метрах в пятидесяти ближе. Я вышел, развернулся и на втором заходе заставил себя не смотреть на щит вообще, а укладывать его в кольцо и считать, как считаю в воздухе: не влез в кольцо - рано, влез с краями - пора. Тогда попал.

С третьего захода я положил очередь в круг, и это была работа не глаза, а арифметики.

Артём в первый раз промазал так, что мы не нашли, куда он попал вообще. Во второй у него пушки замолчали после десятка снарядов. Он сел злой, и Клава лазила в его машину до темноты и вытащила из подающего комок смазки с намотанным ворсом величиной с грецкий орех.

Третий раз Артем стрелял уже на следующий день и попал хорошо. На земле сначала докладывал спокойно, а потом всё-таки не выдержал и рассказал ещё раз с воодушевлением и сопровождая все жестами.

Дырки в щите считали Пахомыч с Кондратом и поругались: Кондрат уверял, что половина осталась с прошлой недели, и это видно по краям.

Двадцатого Батя дал нам учебный бой с Голубем и Плужниковым.

Голубь ушёл вверх сразу, как только мы разошлись, и сидел там, в солнце. Минуты три, и я знал, что он там, но всё равно потерял его на пару секунд. Этого хватило. Он свалился откуда-то из-за виска, прошёл между нами, и Плужников тут же оказался у Артёма в хвосте, а Артём этого не понял и продолжал добросовестно держаться за мной.

На земле Голубь снял шлемофон и посмотрел на моего сержанта долгим взглядом.

- Ни черта ты не понял.

Артём открыл рот.

- Ты ведомый, а не хвост. Ведомый смотрит, а не следует. Тебя двадцать секунд вели, а ты в это время держал мне интервал, красиво, как на параде. - Голубь надел шлемофон обратно зачем-то и пошёл к своей машине. От капонира обернулся: - За интервал, впрочем, хвалю. Ровно ходишь.

Артём после этого ходил как побитый до самого ужина.

Вечером я взял карандаш и на обороте старой ведомости - их у меня после февраля оставалась целая стопка - нарисовал «эфку» в три четверти, с земли, как увидел её в первый раз.

Артём подсел и стал смотреть через плечо.

- А меня можете?

- Тебя? Тебя могу.

Я набросал его портрет у крыла - шлемофон в руке, ноги врозь. Лицо, честно говоря, я вытянул сильнее, чем надо, но узнаваемо, а курносость передал точно.

Он смотрел на листок и молчал, потом попросил разрешения послать домой, и я сказал, что можно.

- Мамка не поверит, - заключил он. - Она думает, я тут в столовой служу. Я ей так написал, чтоб не боялась.

Пётр из своего угла заметил, что мать не дура, она всё равно знает.

Про Харьков в сводке сказали шестнадцатого или семнадцатого, я слышал не сам, мне пересказали у машины. Наши войска оставили город. В землянке в тот вечер было тихо, и Голубь свою шутку про Киев к маю больше не повторял.

Я знал, что так будет, и от этого знания не было ровно ни-

какого толку. Зато в другом я ошибся полностью: весь месяц был уверен, что нас погонят на Донбасс, вслед за Ростовом, и даже прикидывал вечерами, где там поля.

Приказ на перебазирование пришёл двадцать второго.

Куда - узнали не сразу, а когда сообщили, у меня в голове щёлкнуло. Кубань. Про нее я помнил, что там было целое сражение, о котором пишут отдельно. Ещё там дрался кто-то знаменитый, и, кажется, на американской машине.

Имущество грузили в эшелон трое суток. Ведомости, которые я расписывал карандашом по линейке,годились: сверял их со мной сам Заболотный, спрашивая и сам себе отвечая. Печей чугунных бывших в употреблении оказалось на одну больше, чем в бумаге, и мы её вписали.

В последний вечер Кондрат выдернул свои вешки и связал их в вязанку - там, мол, таких не найдёшь, там подсолнух другой. Куст перекати-поля, который Гладышев в феврале прострелил на посту, так и остался лежать у проволоки. Гладышеву за месяц напомнили про него раз двести, и он уже сам рассказывал эту историю первым.

Спал я в ту ночь часа три и заснул мгновенно, едва лёг. В прежней жизни перед дорогой я крутился до утра и вставал с чугунной головой.

Перелетали двадцать седьмого, с одной посадкой на промежуточном поле, где не было ничего, кроме бензозаправщика и двух землянок.

Я вёл. Артём держался справа сзади, чуть выше, как дого-

ворились, и за весь маршрут не сказал в эфир ни слова, хотя ему наверняка хотелось: я это слышал по щелчкам, когда он нажимал кнопку и передумывал.

Поле, на которое мы сели, было раскисшее и рыжее, с лужами по колеям, и садиться на него пришлось по вешкам - их натыкали здесь до нас и точно так же обмотали тряпками. Техсостав пришёл следом, транспортным, вместе с ящиками, и Кондрат, ещё не отойдя от машины, полез смотреть, не набилось ли грязи под щитки.

Пахло здесь по-другому: не степью и не снегом, а мокрой землёй и прелой соломой.

Артём вылез из кабины, огляделся и спросил, всегда ли тут так тепло.

- Не знаю. Мы все здесь впервые.

Глава 4

На первом кубанском поле мы пробыли неполных две недели и за эти дни здорово намучались с глиной.

Она тут была такая, что на штык прилипала тяжелыми комьями, и её приходилось сбивать о край через раз. Капониры рыли все, кто был на земле: технари, БАО, безлошадные из мартовского пополнения. Лопат было меньше, чем рук, и копали по очереди. Мне это было на руку, так как кожа на ладони все еще была тонкой и нежной, и на второй день я ее здорово натер.

Руководил Пахомыч. Он объявил, что глину надо резать пластами, а не ковырять, и показал, как. Липатов, ведомый Захарыча из пополнения, по привычке потянулся к карману, чтоб записать в блокнотик, но спохватился, что его с собой нет, и наблюдал за Пахомычем, почти не моргая. Первый же пласт у него вышел красивый, а второй сорвался, и он объяснил, что это потому, что лопата не его, а казённая. И вообще у них на автобазе в тридцать восьмом копали смотровую яму, и то шло легче, хотя там был суглинок с камнем.

- Ты про автобазу-то не начинай, - попросил Кузьмин, не оборачиваясь. – Копай да и все.

За три дня выкопали шесть капониров, на четвёртый пошёл дождь, и два из них поплыли. Глина держала воду в себе как миска: на дне по колено, так что пришлось вычерпы-

вать это вёдрами и котелками, передавая по цепочке. Заболотный стоял наверху, смотрел через очки и спрашивал, кто решал, где рыть. Сам себе ответил, что решал он. Постоял ещё и велел сделать отводные канавки, по одной от каждого капонира вниз по склону, и повторить велел вслух, чтобы все запомнили. Канавки и правда помогли. Мы потом ещё месяц перешагивали через них, как через окопчики.

Стояли мы частью в землянках, частью по хатам. Мне досталась хата на краю, с хозяйкой Христиной Даниловной, женщиной лет шестидесяти, сухой и прямой, как штакетина. Когда я пришел, она подмазывала пол - разводила глину в ведре, добавляла туда навоз и растирала это по земле ладонью, ровным тонким слоем. На мой вопрос, зачем навоз, ответила, что иначе потрескается. Первые сутки в хате пахло так, что я выходил подышать на крыльцо, но на третий день притерпелся. Спал я на соломе у печки, засыпал как убитый и просыпался от того, что за стеной кричал петух.

Про петуха она рассказывала, что он всю жизнь ночевал не в курятнике, а в бурьяне за сараем, сколько пыталась, не смогла его переучить. Тем и уцелел: немцы в бурьян не полезли. Про мужа сказала, что он на шахте в Донбассе с тридцать девятого. Успел он оттуда выехать со своими или остался под немцем, она не знала. Про сына не говорила совсем, хотя карточка стояла за стеклом в углу.

С Патроном у хозяйки вышла война. Пёс на второй день выяснил, что во дворе есть куры, и стал ходить туда как на

службу - не хватать, а именно ходить, ровным шагом, глядя строго перед собой, отчего куры сходили с ума и носились как ненормальные. Христина Даниловна пыталась подловить его, а Спиридоныч божился, что пёс ни при чём, что это соседский кот курей пугает, и что вообще он пса от кухни гоняет с самого октября, а тот всё равно возвращается.

Кончилось тем, что хозяйка накрыла Патрона у самого курятника и огрела как следует. Пёс ушёл к кухне с видом человека, которого оклеветали, и три дня во двор не совался. На четвёртый я застал такую картину: Христина Даниловна сидит на завалинке, чистит бурак (так она называла свёклу), а Патрон лежит в двух шагах, положив морду на лапы, и ждёт очистки. Она ему кинула. Он понюхал, есть не стал, но с места не ушёл.

Спиридоныч в первую же неделю завел своего меринка в колею у кухни по самое брюхо. Телега села намертво, и вытаскивали её вшестером, подкладывая доски от ящиков, благо, меринок стоял в этой глине спокойно. Спиридоныч ругался на глину, на БАО, на того, кто дал ему такую телегу, и на самого меринка, который, по его словам, специально выбрал место помягче.

- Он у тебя умный, - заметил, сдерживая смех, Кузьмин. - Он тебе показывает, где ездить не надо.

Восьмого апреля мы перелетели ещё раз, ближе к морю. Поле было получше, с накатанной полосой и с настилом у стоянок, но капониры пришлось рыть заново, и глина тут бы-

ла та же самая.

Кондрат первым делом достал из машины свою вязанку. Вешки, вывезенные из-под Сальска, он расставил вдоль полосы через тридцать шагов, обмотав верхушки теми же тряпками, и объявил, что здешний подсолнух ему не нравится. толстый, а внутри пустой.

До плацдарма от нового поля выходило минут двадцать пять хода.

Пятачок под Новороссийском, который взяли в феврале с моря, держатся с тех пор. А ведь про эту землю потом напишут книгу, ставшую едва ли не классикой, но название у меня вылетело.

До семнадцатого мы сходили на прикрытие четыре раза и никого не встретили. Я был ведущим, Артём держался справа сзади и чуть выше, море мы видели с высоты как серую полосу с блеском по краю.

Шестнадцатого вечером с юго-запада начало погромоухивать, и не переставало всю ночь. Я выходил на крыльцо два раза. За горами стояло ровное зарево без вспышек, от него небо в той стороне было светлее, чем над станицей. Хозяйка тоже вышла, постояла, завернувшись в платок, и ушла обратно.

Семнадцатого нас подняли затемно.

Батя ставил задачу у капонира при фонаре, положив фанерку на бочку. Немцы с утра навалились на Мысхако. Наши там держат берег и полосу виноградников от воды вглубь

километра три, весь плацдарм как на ладони. Полку приказ прикрывать там войска, ходить восьмёрками, пары не рвать.

- Двадцать две машины, исправных четырнадцать, - он провёл ногтем по клеткам. - Над целью больше двадцати минут не висеть. Горючее считать не по прибору, а по часам. Кто потянет на авось - сядет в воду. Оттуда за зиму уже двоих достали, не наших.

Заболотный добавил, что бензина на сегодня отпущено на два вылета каждому, и что третий будет, если привезут.

Взлетели по звеньям. Я вёл вторую пару в восьмёрке Голубя, и всю дорогу до гор косился на Артема чаще, чем следовало.

Горы прошли на трёх с половиной. Дальше открылось море, и слева по борту встал дым. И не столб, а целая стена, серо-бурая, поднятая от берега вверх и растянутая ветром вдоль воды. Под ней что-то горело в самом городе и ещё южнее на голом склоне. Полоска берега, за которую там сражались, была шириной с ладонь.

А потом я поднял голову и даже слегка растерялся.

Транспортников в декабре я видел и больше - они шли колонной, и считать их было легко, потому что они были в одной плоскости и никуда не смещались. Тут невозможно было даже примерно подсчитать масштаб. Небо состояло из слоев: над самой водой тянулись двумя косяками «лаптёжники», выше кружило прикрытие, ещё выше сновали пары, и над всем этим, на пределе видимости, ходили чёрточки,

которых не разобрать.

В наушниках стояла каша. Кто-то с наведения орал позывной и высоту, кто-то отвечал, кто-то без всякого позывного кричал «прикрой, прикрой», и всё это сквозь треск от зажигания.

Голубь качнул крылом и пошёл вниз, на косяк.

Я пошёл за ним, но на развороте потерял полсекунды, и меня понесло по дуге шире, чем надо. Артём остался снаружи и отстал ещё сильнее.

«Лаптёжник» медленно лез ко мне в прицел, разворачиваясь, показывая брюхо с неубранными ногами. Я поймал его в кольцо, увидел, что он вот рядом, и нажал.

Трассы ушли под него.

Я вдогонку выпустил ещё, и вторая очередь тоже прошла ниже. Дистанцию я взял глазом, и напрасно.

- Сзади! Товарищ лейтенант, сзади!

Я уже валился влево, потому что за секунду до этого поймал левым глазом тень. Надо мной прошёл «худой», я успел разглядеть жёлтый нос и заклёпки на капоте. Его трассы ушли туда, где я только что был.

Артём крикнул, когда всё уже кончилось.

Дальше минут восемь я работал только на то, чтоб никого не потерять. Дважды выходил на пикировщиков и оба раза не успевал, потому что рядом обязательно оказывался кто-то чужой. Однажды я поймал в кольцо хвост с крестом, уложил размах, начал считать - и его увели у меня из-под носа,

потому что к нему двое наших с другого полка.

Голубь сверху коротко скомандовал уходить.

Домой шли на последних каплях. Я поглядывал на прибор и говорил себе, что он врёт в хорошем смысле. На посадке даже задержал дыхание. Сел по кондратовым вешкам: отвернулся влево-вперёд по борту и поймал их боковым зрением.

Кондрат обошёл машину и нашёл три пробоины: две в правой плоскости, одну в стабилизаторе.

- Заплатку я к обеду поставлю, - доложил он в пространство. - Только фанеру опять привезли - как картон.

Артём стоял у своей машины и ковырял носком сапога глину. Наковырял ямку и стал её засыпать.

- Я поздно крикнул.

- Поздно.

- Я его видел, я...

- Ну и решал: тот или не тот. Ты кричи, пока решаешь. Отверну зря - мне не жалко, я и так полдня отворачиваю зря.

Он кивнул и ямку дозасыпал. От штаба махали: второй по готовности, заправка идёт.

- Ладно. Перезагружаемся.

- Чего?

- Заново, говорю. Как будто ничего не было.

Кондрат из-под плоскости отозвался, что перезарядку он смотрел и давление в баллоне полное.

Дальше дни слиплись. Восемнадцатого мы сделали три вылета, девятнадцатого четыре, а что было в каком, я не пом-

нил уже к двадцатому и путался, когда Гуреев требовал рассказать для боевого листка. Он записывал за мной и всё переспрашивал время, но его я уж точно не мог сказать. Осталось от тех дней немного: горы, дым, море слева. И треск в наушниках, от которого к вечеру ломило за ухом.

Девятнадцатого мы вывалились на четвёрку «лаптёжников», уходивших к своим. Я взял ведущего и тянул к нему долго, потому что он всё добавлял газу, а сзади его стрелок бил короткими и аккуратно. И где-то на полпути у меня в затылке появилось нехорошее ощущение, от которого хочется втянуть голову в плечи.

Артём молчал. Он смотрел вперёд, на «лаптёжников», как потом оказалось.

Крикнул Голубь, и я бросил ручку от себя и вправо, и по тому месту, где мы только что шли, прочертили трассы. Целились по ходу не в меня, а в Артёма, и попали бы, если бы он не свалился вслед за мной. Что-то, а следовать за мной он научился с первого нашего вылета. Голубь нагрязнул сверху и снял этого «худого» одной очередью, тот пошёл вниз, дымя, и утонул в море далеко от берега.

На земле Голубь не стал разбирать этот момент ни со мной, ни с Артёмом. Снял шлемофон, свернул самокрутку и заметил в пространство, что над водой все дуреют, потому что глазу зацепиться не за что.

Море и правда было хуже всего. Высота над ним врёт, горизонт стоит не там, где надо, и все двадцать минут я держал

в голове одну и ту же мысль: если сядешь, рассчитывать не на что, разве что подберут быстро. Тогда же, девятнадцатого, я впервые увидел «фоккера».

Он прошёл выше и в стороне и шёл ровно, как утюг по доске. Артём после посадки опознал его первым и был этим страшно доволен.

- Товарищ лейтенант, «фоккер» же! Я его сразу...

- Молодец, углядел.

Пушки между вылетами заряжали в четыре руки, и Клава при этом ругалась не переставая.

- Ты снаряды-то не хватай, Меченый. Уронишь на ногу - сам себя спишешь.

- Ну я же нормально подаю.

- Ты подаёшь, а лента идёт криво. Отойди, я сама.

Ленту она укладывала быстро, глядя не в короб, а куда-то поверх него, и рассказывала, что вчера у Гаврилова в правой пушке нашла обрывок ветоши, и что ветошь эта точно не ее. Пальцы у неё были обмотаны бинтом по второй сустав, бинт серый от масла, и она его каждый вечер стирала и сушила на печной трубе.

- Ты бы рукам дала денёк отдохнуть, - кивнул я на её пальцы.

- Да? А пушки наши могут отдохнуть?!

Я помнил, что пятачок удержат. Так что два дня меня эта мысль успокаивала. Казалось, что немцы навалятся разом и через день-два выдохнутся. Но они не выдыхались. Ходили

как на работу, с утра до вечера, и к двадцатому меня начало мутить от одной мысли, что завтра опять то же самое.

Еще я все пытался вспоминать фамилию знаменитого летчика, который здесь отличился. Она крутилась на языке, начиналась то ли на «п», то ли на «к», и в какой-то момент я поймал себя на том, что стою у бочки и шевелю губами, перебирая варианты. Кондрат даже спросил, не заболел ли я.

Двадцатого нас подняли ещё до рассвета.

В этот день над плацдармом было тесно, как в маршрутке в час пик. Мы пришли на четыре с половиной тысячи, и внизу под нами уже кипел бой. Не было упорядоченного строя, просто месиво, в котором крутились и наши, и не наши, и вываливались вниз дымные хвосты. С наведения орали про группу с юга.

Голубь повёл вниз, и мы разошлись парами.

Я, как в тот раз, подобрался к «лаптёжнику», который уже уходил. Стрелок бил по мне длинными, и трассы проходили правее. Думая, что он мазила, перестал обращать на него внимание. Уложил размах врага в кольцо и начал считать. Как только влез с краями, я нажал.

Очередь легла ему в правую плоскость и в кабину, кусок фонаря сорвало и понесло, стрелок замолчал, и машина пошла вниз плоско, почти не меняя угла, и вошла в воду с длинным белым всплеском.

- Есть! - заорал Артём в эфир. - Есть, товарищ лейтенант, я видел!

- В эфир не лезь.

- Виноват.

Он держался за мной весь бой. Не блестяще: снова отставал на разворотах, один раз выскочил вперёд меня, испугался этого сам и убрал газ так, что провалился вниз. Но не потерял ни разу, дважды крикнул о заходе и во второй раз без опоздания.

Петру в тот вылет разбило маслорадиатор. Я услышал по эфиру голос Гаврилова - деловитый, очень громкий, он вёл его через горы и докладывал так, будто читал сводку. По интонации все на земле поняли, что дело плохо. Пётр перевалялся, дотянул до поля с остановившимся винтом и сел на брюхо у самой кромки, распахав хвостом сотню метров глины. Вылез он сам, весь в масле, с почерневшей левой половиной лица и первым делом спросил про машину.

Заболотный обошёл её кругом, присел у мотора, поднялся и спросил, какой тут будет ремонт. И сам же ответил, что капитальный.

Сержант Липатов, ведомый Захарыча, из-под гор не вышел.

Захарыч сел, вылез, постоял у крыла, потом взял ветошь и стал вытирать руки, хотя руки были чистые, и посчитал вслух, какой это у него по счёту ведомый, сбился, и посчитал заново.

Вечером Гуреев сидел в штабной землянке и писал матери.

- Помнишь, откуда он? - спросил он меня.

- Из Куйбышевской области, кажется. Он с Гладышевым про Волгу спорил.

- Из Ульяновской. - Гуреев заглянул в список и повторил:

- Из Ульяновской.

Батя в тот вечер стёр с фанерки одну фамилию и на её место ничего не вписал. Ставить к Захарычу было пока некого.

Кондрат подошёл ко мне у капонира, когда я уже собирался идти спать, и завёл разговор издали. Про то, что краска у оружейников есть, что Клава даст, что кисточка тоже найдётся.

- Двенадцатую рисовать, командир?

- Нет. Не сегодня, давай завтра.

Кондрат постоял, поглядел туда, где у крайней машины сидел и курил Захарыч, и ушёл к машине проверять шплинты.

Двадцать первого и двадцать второго мы ходили ещё по три раза, и небо помаленьку начало пустеть. Я это заметил не сразу. Над плацдармом стало слышно свой мотор.

Двадцать третьего дождь лил с утра до обеда, поле раскисло, летали только третья эскадрилья и Голубь. Мы с Артёмом просидели полдня под плоскостью на ящиках, подстелив чехол. Он рассказал про Киров, про бабу, которая ругается в письмах, что он мало пишет, и про мужика с их двора, разводившего кроликов. Они у него один раз ушли все разом, подкопались под сарай, и их ловили по всей улице два дня.

Двадцать четвёртого мы сходили на плацдарм дважды, отходили свои двадцать минут и обошлись без встреч. Дым над берегом стоял тот же, и внизу всё так же сражались, а нам не досталось никого. Возвращаясь, я поймал себя на том, что жд

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.